

Старые документы... Сколько их перебивало в моих руках — тысячи и тысячи. Взятые с полка знаменитых и не очень знаменитых архивов, принесенные из музейных запасников и рукописных отделов библиотек, вынутые из заветных деревянных сундуков, из-за божниц, порой из развязанных застиранных платков. Особая оторопь охватывает человека читающего: оторопь перед остановленным временем. Чувство нескончаемости, власти жизни и на самого-то себя заставляет посмотреть как бы со стороны: ты-то, собственно, кто такой? Откуда пришел, что и зачем делаешь, куда уйдешь, что после себя оставишь?..

А тут и вообще особый случай. Лежащие передо мной документы взяты не из официального хранилища, а из... собственного семейного архива. В них — отблески жизней близких мне людей. Людей, чья кровь течет во мне, грешном.

Большая, величиной с добрую половину газетной странички, плотная бумага. Источенная временем, лопнувшая на сгибах и сплошь изжелтевшая. Золотое тиснение, кото-

рым были выполнены фигурная рамка, гербы — имперский и губернский — и само крупное название — «Похвальный лист» — померкло. Но осталась, не выветрилась за сто с лишним лет присущая этой бумаге торжественность. Знали свое дело мастера из Вятской губернской типографии, изготовившие бланк «Похвального листа» в 1893 году.

Можно представить себе, как вручают этот солидный документ притихшей деревенской девятилетней девочке, которая вся-то замерла, затихла, вся-то превратилась в слух:

«Производившие испытание в Слободском жтиском начальном народном училище удостоили ученицу Глафиру Ашихмину за весьма хорошие успехи и благонравие сим похвальным листом мая 28 дня 1893 года.

Законоучитель священник Павел Замятин, учительница Е. Бобровская».

Мне представляется, что читал текст именно этот Павел Замятин — молодой, с ухоженной лопатистой бородой, красногубый.

Куда-то потом подевались

священник Замятин и учительница Бобровская?..

Пока же — взвилась детская душенька, затрепетала. И побежала моя будущая бабушка домой, не чуя под собой ног, свернув трубочкой этот свой первый и, как оказалось последний документ об образовании.

Помню, она много раз со слезами на глазах рассказывала мне, как несла ее тогда в родную деревушку после вручения «Листа», как умоляла отца и мать разрешить учиться дальше: две учительницы, сестры-бобылки, приглашали ее к себе в дом, живя в котором и помогая им по хозяйству, она смогла бы продолжить учебу. Но не умолила, не пустили. Нужно было как-то тянуть дальше немалую семью, где все держалось на матери, днями и ночами не разгибавшейся из стирки чужого белья. А их отец — веселый мой прадед — больше гулял, играл на ярмарках в лотерею, продавал

ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ

на корню сею с покоса — единственного своего владения. Работал он по вдохновению. Правда, работой своей в округе славился: понимал в земле, чувствовал ее и хорошо копал колодцы, погреба, котлованы и траншеи на стройках, а когда приходилось — и могилы. Заработанное лишь частью шло в дом, остальное уходило на ту же ярмарку да в кабаки. Мало ли соблазнов было в находящемся рядом торговом городке для развеселого жителя пригородной деревушки Котельниковой, которая и пригородом-то по-настоящему не стала, и деревней быть перестала, а жила себе между небом и землей: за грибами-синявками к похлебке в полчасика бегали — те чуть ли не за огородами росли, а службу церковную — городскую отставляли. Так что семейство выручало в основном прабабкино корыто.

И уж навсегда прощаясь со своим непутевым прадедом, приведу недавно вычитанные

слова В. Лебедева — талантливого, говорят, вятского литератора: «Слобожане из вятских — самый вятский народ». Во как!

...Вот и требовались детские ручонки будущей моей бабушки — разносить бельевые заказы и получать новые, летом собирать на продажу землянику, помогать по дому, исподволь учиться шить. («Все приданое сама себе справила», — хвасталась она мне потом).

И плакала она каждый раз, когда много лет спустя рассказывала о своей несбывшейся дальнейшей учебе, о том, как во сне решала задачки, как буквально бредила всем этим. До самого того момента, как отказали глаза, — свободно читала она газеты, знала наизусть (еще с тех, училищных времен) десятка полтора стихотворений. Это от нее, полуграмотной, впервые услышал я строки Пушкина и Лермонтова. Про бурю, которая небо мглою кроет. Про

царицу Тамару, которая прекрасна, как ангел небесный, но, как демон, коварна и зла. Они в училище пели эти стихи, взявшись за руки и гуляя кругом. И письма мне хоть изредка, но писала, когда я уехал в другой город учиться. И надо ли говорить, что чаще всего были это не просто письма, а записочки, которые лежали на дне посылочных ящиков с продуктами — рядом с радостно-красочной десяточкой?.. (Эх, стыдно, стыдно вспоминать, на что у нас уходила чаще всего эта скромнейшая старушечья десяточка. Слышишь ты меня, прадедка?)

Говорила бабушка до конца дней своих на странной, с тех пор мне не встречавшейся «вятско-сибирской» смеси, которую и передать-то трудно: чёрик, камалашки, лековаться, передряга, востричься, мымра, помлить.... Некоторых слов и у Дая-то нет.

Между прочим, бабушка моя с ее «Похвальным листом» научила читать — писать

еще одного человека — собственного мужа, то бишь моего деда Василия Васильевича (1878 года рождения, то есть на семь лет ее старше).

Был дед родом из того же Слободского уезда Вятской губернии, а точнее — из 4-го Ивановского починка Стуловской волости (это я опять списал из старых документов). А вот что со слов бабушки помню. Говорила она — семья у деда была небогатая: и отец и братья скорняжничали, шили верхнее из овчины да и другую одежду.

И свекор выбором деда был очень даже недоволен: берет бедлячку, из семьи, где сплошь одни девки. Плюс к тому и женится не в очередь — тогда один из старших дедовых братьев еще холостым ходил. Да и жить с молодой намеревается отдельно — опять из семьи тянет, а не наоборот. Обида эта осталась навсегда, она вскоре и выгнала деда и бабушку из родных российских мест — вначале на Урал, а потом и в Сибирь. Ведь не раз презирали к молодым отец и братья с «разборками», однажды чуть вообще не убили деда по пьяному делу. Вот и

решено было уехать от греха подальше. Поехали за земляками в Миасс, а потом уже, после сильного миасского пожара, — дальше, в Омск.

По прежде чем сделать доброе дело — научить своего неграмотного муженька читать и писать — бабка научила его другому.

«Васюра, когда я за него вышла, ну совсем не курил. Я, дура молодая, подсмеивалась над ним: что, мол, ты, как малый малец, не куришь, от тебя и мужиком-то не пахнет. Дошутилась: начал курить. И так с годами пристрастился — от одной другую прикуривал, как с соской ходил. В уборную, прости Господи, пойдет — и тоже с ней. Я бывало говорю: «Запалишь ты нас, Васюра». А он: «А кто меня курить научил?! Молчи уж!..» В последние годы казенным уж не накуривался, свой табак стал в огороде садить».

Помню это табачное дедово снаряжение — корытце и сечку (табак рубить).

Сохранил я и пачку его полуграмотных писем, точнее — открыток, которые он посылал семье из германского плена.

Но об этом надо отдельно...
А. ЛЕЙФЕР.